

Сибирь — колония особого рода, не отделенная океаном от метрополии, вполне доступная стихийному движению русской народности, представляет прямое продолжение русской жизни по сю сторону Камня.

ГЕОРГИЙ ВЕРНАДСКИЙ

Для России колонизация была основным фактором истории.

ВАСИЛИЙ КЛЮЧЕВСКИЙ



Якутский острог гулял с обеда, где-то пели, где-то громко и нетрезво орали, а где-то уже и лавки затрещали. Нежданный праздник был законным — большой отряд казаков вернулся из дальнего похода. Бессемейные служивые собрались в торговой бане, туда же подтянулись все ярыжки\* Якутского, пир стоял шумный и надолго. Казацкие десятники Данила Колмогор и Иван Лыков, отмывшись от зимней костровой копоти и конского пота, тоже выпили по чарке и теперь в непривычно нарядных кафтанах и сияющих дегтем сапогах шли на двор к воеводе.

Просторная горница жарко натоплена, свечи потрескивают в подсвечниках, на столе праздничная серебряная посуда. Воевода и сам нарядился по случаю: из-под зеленого кафтана, расшитого золотым шелком, выглядывали полосатые зелено-синие штаны, на ногах желтые сапоги мягкой кожи. Данила с Иваном перекрестились на иконы, поклонились хозяину.

— Раздевайтесь! Выпьем за такое дело!

Государев стольник воевода Петр Урасов, человек властный и умный, когда пребывал в духе, мог и по-товарищески держаться. Улыбался Даниле. Его отряд, полгода назад

---

\* Ярыга, ярыжка, ярыжный — неимуший человек, наемный черно-рабочий, грузчик, гребец на судах. В обиходе — беспутный человек, голь кабацкая.

посланный за непростым делом, вернулся, не потеряв ни одного служилого, и с ясаком\*, добранным у непокорных якутов.

Данила распустил тесемки холщового мешочка, достал вязку из пяти соболей. Встряхнул, расправляя темный мех:

— Поминки\*\* с нас, Петр Петрович... Благодарим Бога и государя, что послал на добрую службу.

Воевода принял, не без жадности оценивая драгоценные, темным шелком переливающиеся, невесомые шкурки, поднес к подсвечнику:

— Добрые!

— Одинцы! — с уважением к соболям подтвердил Иван.

— Вижу, чай! — Урасов качнул высоким воротом кафтана, усыпанного жемчугом. — Закусим чем бог послал! Прокоп! — крикнул в соседнюю комнату.

Сели. Во главе стола — среднего роста, с небольшим животом, обтянутым тонким иноземным сукном, крепкий воевода. Взгляд привычно властный и подчеркнута спокойный. Напротив десятички — Иван Лыков с сухим морщинистым лицом, острым, много раз перебитым носом и небольшой кучерявой бородой и Данила Колмогор. Этот был самым молодым за столом. Светло-русые, чуть вьющиеся волосы, умные серые глаза; только рваный, плохо заросший шрам на щеке чуть портил лицо.

Явился Прокоп, здоровенный молчаливый детина, исполнявший у воеводы разные доверенные должности — сейчас он был дворецким, — внес кубки и наливки. Серебряный штоф с тонко отлитыми зверями и птицами поставил перед воеводой, другие, серебряные же, но поменьше и попроще, — перед гостями. Две красивые девки из иноземок разложили и расставили свежий ржаной хлеб, калачи пшеничной муки, ложки, перец, горчицу, соль. Внесли котел с ухой из стерляди, тайменя и нельмы, Прокоп сам разливал по мискам.

---

\* Ясак — натуральная подать, налог, платился пушниной, реже скотом.

\*\* Поминки — подарки, дары.

— Ну что, пятидесятник казачий! — Воевода поднял кубок белого пенящегося меда и хитро уставился на Данилу. — Указ привезли из Москвы — жалует тебя государь Михаил Федорович за заслуги новым чином и годовым жалованьем в пять с половиной рублей, пять с осьминою четей\* хлеба, четыре чети овса и два пуда соли... — Урасов говорил не торопясь, со значением, подчеркивая размеры нового довольствия Данилы Колмогора. — И еще сукна доброго... Рад небось?

Данила благодарно кивнул, но взгляд оставался спокойным.

— Знал бы государь об этом твоём походе — и сотником бы пожаловал! Есть за что! Так, что ли, Ваня, чего головой трясешь?

— Согласен, Петр Петрович, по заслугам Даниле... — Морщинистое лицо Ивана Лыкова разгладилось улыбкой.

— Отвык от хмельного! — Урасов довольно оперся на высокую спинку. — Пей за товарища! Завтра отоспитесь!

Выпили, стали хлебать жирную уху.

— Рухлядь предъявите, садись с дьячком доездную память составь, все опиши — кто ранен был, кто в драке отличился. В Сибирском приказе любят, когда складно изложено... Прокоп, чего там у тебя?

Прокоп внес рыбный пирог — горячий запах печи и румяной ржаной корки поплыл по комнате. Пирог блестел, обильно политый ореховым маслом.

— Рассказывайте, чего молчите! Опять отличился перед товарищами! — Воевода, обжигаясь, отломил угол пирога. — Я этого Ермилу-басурманина поил-кормил в Якутском, а он, паскудник безмозглый, в бега!

---

\* Четь, или четверть, — мера сыпучих тел, примерно четыре-пять пудов. Осьмина — 2,5 пуда. То есть пятидесятнику, кроме денег, было назначено 440 кг годового хлебного довольствия, главным образом ржаной мукой, но и пшеничной, и крупями.

— Так умер сын его, что ты в аманатах\* держал...

— А Ермил как об этом узнал? — перебил Урасов, вцепившись взглядом в Колмогора.

— Дурные вести по лесам быстро бегут, — ответил Данила, отставляя пустую миску.

— Ты что же не расспросил?

Данила молчал, вспоминая непростые долгие переговоры со смертельно обиженным якутским князем.

Отряд казаков Данилы Колмогора ушел из Якутского острога через две недели после Нового года\*\*, в середине сентября. Их было семнадцать человек, каждый с двумя конями, с собой вели ездовых собак. Им предстояло спуститься сто пятьдесят верст вниз по Лене, потом подниматься по Алдану. Сколько — никто не знал, Алдан — большая река, до истока еще никто не ходил. Куда-то вверх по нему откочевали якутские князцы Чугуй и Ермил со всеми своими улусными людьми и скотом. Непослушны сделались, отказались платить ясак и ушли.

К концу октября казаки добрались до большого притока Алдана, реки Май, где и нашли следы беглецов.

Оставив под присмотром трех казаков лошадей и часть припасов, на собачьих нартах и лыжах двинулись вверх по замерзшей уже Мае. Шли небыстро, по боковым притокам искали следы людей или скота, сами кормились. Места богатые, на ночь ставили под лед сети-пушальницы и всегда были с доброй рыбой. И себе, и собакам хватало. На третью неделю пути на переходе в узком месте попали в засаду к изменившим якутам. Их было почти две сотни. Казаки

---

\* Аманат — заложник. Их держали в специальной тюрьме-казенке для гарантированного сбора дани. Раз в год родственники аманата приходили и приносили соболей со всего рода. В аманаты брали «лучших мужиков», самих князцов или их родственников.

\*\* Новый год в то время начинался на Семенов день — 1 сентября.

наспех окружили себя нартами и лыжами, нацепили пансыри\* и, гремя выстрелами из пищалей, отбивали приступы до самого вечера. Когда начало темнеть, напор якутов ослабел, Данила сделал вылазку всеми людьми, и нападавшие побежали, унося раненых — их, видно, было немало. Четверых убитых нашли, прикопанных в снегу. В отряде Колмогора тоже были раненные стрелами, в основном в руки и ноги, в свальной драке кого-то достал и якутский нож, и пальма\*\*, но все обошлось, слава богу. Взяли нескольких пленных, от которых узнали, где искать беглецов.

К концу ноября с помощью вожей\*\*\* на реке Юдоме нашли князца Чугуя. Напали на укрепленное стойбище и после недолгого боя — сам Чугуй был ранен в шею — стали договариваться. Князец вынужден был подтвердить прежде данную шерть\*\*\*\* на холопство московскому царю и послал своих людей к князцу Ермилу, но тот бесстрашно со всеми сродниками уходил вверх по Юдоме.

Беглецов было много, шли они со скотом, и настичь их было несложно, но Данила, избегая войны, терпеливо действовал через переговорщиков. В конце концов удалось без драки навязать высокую волю Белого царя. Собрали ясак за нынешний и за прошлый годы, замиряясь, отарили подарками и отправились в обратный путь. Весь поход занял почти полгода.

Урасов, хищно прищурившись, вслушивался в каждое слово Данилы Колмогора. Когда тот закончил, долго еще сидел, хмуро о чем-то раздумывая.

---

\* Пансырь, или куюк, — железная пластина, закрывающая грудь, иногда и спину.

\*\* Пальма — холодное оружие сибирских народов, копьё с длинным ножевидным наконечником.

\*\*\* Вож — проводник.

\*\*\*\* Шерть — присяга на принятие подданства, на данничество, «на вечное холопство».

Воеводство было молодое, места нетронутые, соболей отсюда отправлялось в разы больше, чем из других подчиненных и уже хорошо опустошенных земель, и это давало якутскому воеводе особенные права. Всем окрестным иноземцам крепко было памятно, как после большого и долгого восстания якутских родов перевешал он без царева указа десятки их сродников — лучших людей и князцов. Носы и уши резал, глаза выкалывал, живыми в землю закапывал. Иных, запытав до смерти, потом мертвыми вешал. И своих казаков, заподозрив в корысти или измене, не щадил: за ребра крючьями подвешивал, клещами раскаленными пуп и жилы тянул, и голову клячем воротил, и по мужскому естеству прутьем стегал... В Якутском остроге было уже семь тюрем, и тех не хватало. Даже второй воевода Парфен Обухов, как и сам Урасов, царский стольник, больше года сидел в казенке, облыжно обвиненный Урасовым в государевой измене.

Прокоп принес горшок с кашей и большой кусок разварной говядины, начал было ее резать.

— Иди-иди, сами... — отослал его воевода и налил крепкого хлебного вина\*. — Аманатов почему нет? — Недобрыми хмельными глазами уставился на Данилу.

— Далеко везти было, когда бы водой шли...

— Не вертись, Данила! Царев указ нарушаешь!

— В указе велено лаской с иноземцами обходиться! Коли своей волей соболей дают, так аманатов не брать! За два года ясак привез! Чего еще?! — стоял на своем Данила.

— А я велел — брать! Тебя двух князцов покорить послали, а у меня их сотни! Когда аманат в казенке — его родичи обязательно с ясаком прибегут!

---

\* Хлебное вино (горячее, куреное, зелено-вино) — самогон. Гнали из ржи, овса, ячменя.

— И так придут, — осторожно поддержал товарища Иван. — Нужда у них в котлах и в железе, одекуй\* тоже охотно брали.

Девки принесли олады, облитые маслом и медом, мед в сотах. Петр Петрович рыгнул сыто, проводил одну нетрезвым взглядом. Нахмурился и отодвинул свою чарку. Посидел со значительным видом.

— Однако кочи\*\* начинайте ладить... — Урасов отряхнул бороду от крошек. — Просился в земли неведомые? Отпущу, как лед сойдет!

— На восток?! — замер Данила.

— Не ликуй раньше времени. — Урасов замолчал, важно глядя на пятидесятника. — У меня больше двухсот казаков отпущены по разным землям! На Яну и Индигирку пятнадцать служилых снаряжаю! На две реки! Больше некого! Михайла Стадухин с Сенькой Дежневым на восток на Оймякон-реку ушли, а тоже оказались на Индигирке, будто там медом намазано! Ты смекаешь, как оно могло статься?

Данила напрягся, не понимая, к чему тот клонит, пожал плечом.

— Вот и мне неведомо. Может, и мозги мне засирают своими сказками, но ясак добрый взяли. Стадухин теперь в Жиганах кочи строит, как раз как ты хотел, на Колыму-реку собирается... Ему там ближе, он и пойдет!

— Петр Петрович, ты же знаешь, — перебил Данила, растерянно, с просьбой глядя в глаза воеводы. — Я и в Якутский пришел, чтоб Студеным морем государю служить! На Индигирку-реку в одно лето обернулся!

— Ну-ну, что с того?!

---

\* Одекуй — стеклянные бусины, то же, что и бисер, но крупнее. Использовались для подарков и меновой торговли с иноземцами.

\*\* Коч — однопарусное мореходное судно, до двадцати и больше метров длиной. Принимало на борт многие тонны грузов.

— Как что? Государеву казну в целости привез! Другие по два и по три года ползают! Про неведомую Колыму-реку я первый тебе челом ударил! — Данила замолчал, заглядывая в глаза Урасову, но тот на него не смотрел. — Добро! Пусть Михайла туда идет, разреши — мы с Иваном дальше морским берегом двинемся, новые собольи реки разведем...

Воевода не слушал. Закусывал оладьями. Вытер руки и посмотрел строго на казаков:

— Твое дело потуже будет. На запад от Лены пойдешь!

— Куда? — опешил Данила.

— За Оленек-реку!

Данила замер, соображая, опустил взгляд в блюдо с оладьями, по щекам ярый румянец бежал. Иван растерянно и даже боязливо, как бы чего не сказал лишнего, поглядывал на товарища.

— Пустил бы ты нас морем в те края, Петр Петрович, Данила всю зиму про то тоскует, у нас и лес добрый для кочей заготовлен.

— Примолкни, Ванька! Не просто так вас отправляю! За Оленьком из Якутского еще никто не бывал! Земли самые дикие!

— Государев указ был на запад дальше Оленька не ходить! — простодушно напомнил Иван. — Под смертной казнью! Какие же то реки?

— Имен мы им не знаем, вас шлю, чтобы проведали!

Воевода глядел строго, обращался к Даниле, но тот отвернулся. Рука вцепилась в край стола, то ли встать и уйти собрался, то ли стол опрокинуть.

— Три года назад я Анисима Леонтьева туда посылал, — продолжил Урасов, — да он сгинул без следа...

— Что я, нянька Анисиму?! — перебил, не сдерживая гнева, Данила.

— Надо их найти! — надавил Урасов. — Не их, так сыскать, что там стряслось. Прошлым летом с Жиганского

острожка посылал казаков, не нашли ничего, говорят, море за Оленек не пустило. Поди проверь тех воров, может, и не ходили никуда.

— Море, оно такое, Петр Петрович... — заступился за казаков, а скорее за море Иван.

— За целое лето не пустило?!

— Всяко бывает! Льды!

Данила молчал. Ясно было, что те купцы и казачьи начальники, кого Урасов отпустил морем на новые реки, занесли немало соболей, еще и посулили столько же, его же просьбы и подношения были напрасны. И сейчас воевода многое недоговаривал.

— Я и не слыхал про того Анисима. — Иван опасно косился то на воеводу, то на товарища.

— Льдами их затерло, коч без людей к устью Оленька принесло. С ним шесть казаков было, должны были на землю выйти. Где они теперь? Неужто тебе не в доблесть пропавших товарищей сыскать?! — Урасов прищурился на Данилу, но тот молчал.

Воевода посидел, раздумывая, потом продолжил, разряжая тяжесть, нависшую над столом:

— Грани между Якутским и Мангазейским воеводствами до сих пор нет. Из Тобольска нарочно для этого дела служивого грозятся прислать, чтоб по всем правилам чертеж изготовил. Тебе надо будет реку сыскать, годную для грани! Ее и чертить!

Данила молчал, но взгляд его тяжелел, и сам он будто в размерах увеличивался, Иван всерьез уже волновался, не уцепил бы Данила воеводу за бороду. Урасов же, привычный к своеволию казаков, стал спокойно разливать вино:

— В лесах нынче дюже беспокойно стало, иноземцы промышленников теснят на промыслах, в зимовьях и на переходах насмерть побивают. За зиму на Вилкое убили тридцать человек, на Яне одиннадцать, на Витиме да на двух Мамах-реках двенадцать... Служилых людей тоже бьют!

Хорошо, если без большой войны обойдетесь! — Воевода поднял свой кубок, потянулся чокнуться, но Данила будто не видел этого. — Ясак добрый соберешь, отправлю с ним в Тобольск! Сотником вернешься!

— Да что мне твой Тобольск?! — Данила зло прищурился на воеводу, во взгляде что-то свое.

Урасов заговорил совсем уже мирно, словно признавал право пятидесятника на гнев:

— Стихни, Данила... Мне за Оленьком такой, как ты, нужен. — Он допил свой кубок. — Тебе Анисима Леонтьева искать, чего зря болтать! Ну и чертеж этот... Сдюжишь!

## 2

Якутский острог был заложен в 1632 году на правом берегу Лены казачьим сотником Петром Бекетовым. Тогда он назывался Ленским острожком, был невелик, но выдержал долгую осаду якутов, собравшихся тысячным войском. Поставлен, однако, он был неудачно: высокие весенние паводки заливали строения, а в один особо полноводный год Лена унесла бóльшую часть стены. Острог перенесли на новое место, но туда тоже доставала вода, и Якутский, теперь он назывался так, перенесли еще раз, семьюдесятью верстами выше по течению — на левый берег своенравной реки.

В 1638 году острог стал центром Якутского уезда. Границ нового воеводства никто не ведал — в то время до них еще не дошли. Но всего через десять лет силами ватаг\* соболиных промышленников и небольших отрядов казаков появились государевы острожки за тысячи верст от Якутского — на Чукотке, на побережье Охотского моря, на Амуре. Все эти служилые и вольные люди уходили отсюда, с берегов великой реки Лены.

Самое дальнее государево воеводство за полтора десятка лет своего существования превысило размерами Русь, что была при Иване Грозном.

---

\* На соболиный промысел обычно шли не в одиночку, но группами-ватагами от 5 до 20 человек. Ватага создавалась в складчину или финансировалась состоятельными людьми.

Вольный и богатый соболиный промысел, как и в целом вольная жизнь в изобильном краю, манил людей с Руси, и острог быстро разросся. Кроме высокого двора воеводы и церкви, выстроили просторные съезжую и таможенную избы, торговую баню, амбары на соболиную казну, для хлеба и соли, пороховой погреб, торговые лавки, несколько тюрем, пыточную избу, двор для приезда иноземцев, как тогда называли коренных обитателей этих мест. К началу 1640-х годов большой гостиный двор был поставлен только наполовину, но в нем уже останавливалось немало народу — приближалась весна, и с промыслов на дальних реках во множестве возвращались торговые и промышленные люди. Заваленные снегом избы казаков и посадских лепились к стенам. Так же стояли зимние чумы мирных посадских якутов. Времена были беспокойные, и вся жизнь пока пряталась внутри города. Слобода снаружи острога только начинала строиться.

На другой день Данила подал воеводе бумагу. Бил челом отставить его от государева жалованья и службы. Пьяный пошел с ней к Урасову, и шуму получилось много. Взбеситься воеводе было от чего. Уйти с государевой службы можно было только по немощи или померев, но тут все было хуже. Государь по урасовскому челобитью пожаловал Данилу пятидесятником, а он в ответ самую свинскую неблагодарность выказывает. Допустить такой дурнины нельзя было. Урасов явился к Колмогору с тремя дюжими казаками, надел ему на шею колодку и посадил его в тюрьму. Печей топить не велел, двери растворить и никакой овчинки не давать.

Вечером, когда челобитчик протрезвел, велел привести к себе. Данилу так колотило от холода, что и язык уже не шевелился. Тяжелая колода, из которой торчали голова и ладони Колмогора, тряско стучала об стену. Воевода жепил крепкое хлебное вино и закусывал квашеными огурцами.

— Выбирать тебе не из чего, Данила... — Урасов говорил с пятидесятником с ехидной ласкою, с бережливостью, так, видно, кошка озорует с мышкой. — Или тюрьма года на три — пока челобитная твоя до Москвы дойдет и обратно вернется... или ты сейчас порвешь ее и станешь собираться, куда я велю! Тут, в Якутском, Данила, моя воля и никакой другой не будет!

Колмогор молчал, отвернувшись. Трясся от холода и бесилья.

— Служивый ты добрый, таких у меня немного, поэтому покуда без кнута обошлись и разговариваю с тобой как с сыном... с блудным... — Урасов налил себе в кубок, отпил и захрустел огурцом. — Сладишь это дело — отпущу, куда укажешь!

— Ты мне перед Юдомой-рекой то же обещал! — Данила повернул голову, не скрывая злобы. Урасов даже поморщился, опасаясь, что плюнет.

— Я тебе вчера все обсказал: мне для розыска Леонтьева честный служивый нужен — некого больше послать!

— Опять наврешь, Петр Петрович... — Данила потянулся головой к ладони, пытаясь вытереть оттаявший нос, но не дотянулся. Нахмурился, обреченно глядя в хмельные глаза своего насильника.

Воевода же допил из кубка и вытер усы:

— Ты мне не поп, чтоб я перед тобой исповедовался. Чего решил — в тюрьму или на волю?

Колмогор пил несколько дней. Без него ясак не сдавали и никаких других дел не делалось. Воевода не неволил, сам вина прислал, примиряясь. В торговую баню, где гуляли его казаки, Данила не ходил, сидел мутный у обледеневшего слюдяного окошка. Все мысли были, как уйти из-под воеводской власти. Честного выбора не было — только бежать! Сговориться с казаками, сделать вид, что идут куда послали, а в устье Лены повернуть на восток.

На волю. Так делали, и нередко, но то ради вольного грабежа и разбоя, не знающего пределов, когда не различали ни своих, ни чужих. Кто-то корыстничал и потом уходил к Руси тайными тропами, но чаще, погуляв год-другой, делились с воеводой добычей, приносили повинные челобитья и бывали прощены. Не хватало служилых на эти бескрайние просторы.

Это была бы воля, но позорная, воровская\*. Данила воображал, как уходит в полунощный океан, ветер давил парус, волны кидали тяжелый коч... и тут же видел всеильного беса-воеводу. Тот из мести наладит за ним погоню. Биться со своими, православными, негоже, но и плясать под воровскую дудку воеводы не по нутру было.

Пятидесятник заваливался на лавку, укрывался одеялом и мучился бесплодными думами об одном и том же. Все в голову лезло, как три дня назад, счастливые, подъезжали к Якутскому.

Они с Иваном на мохнатых якутских лошадях ехали передовыми. За ними еще всадники, вьючные кони и целый караван груженых собачьих нарт. Длинно растянулись, дальних едва и видно было за поземкой. Народ уже собрался на берегу у ворот Якутского.

Подъезжали, задирали головы на знакомые очертания острога. Высокие бревенчатые стены завалило за долгую зиму. Крыши сторожевых башен под снежными овчинами не узнать было, только темный шатер Живоначальной Троицы строго торчал в небо. Дымы курились над жильем, спрятавшимся за стенами. К нему они и стремились, больше месяца топтали снега, все неволью улыбались.

Из главных ворот в собольей шубе нараспашку явился сам Урасов. Народ нетерпеливо расступался перед воеводой, но вперед не лез.

---

\* Воровской — употреблялось в значении «нечестный, лживый, корыстный».

Выехали на берег, спешивались у коновязи, крестились благодарно на надвратную икону, кланялись низко Богу, воеводе и людям. Усы и бороды в сосульках, лица коричневые от костров, давно не мытые и не стриженные. Данила тогда, как к отцу родному, направился к Урасову. Поклонился в землю, поклонился и воевода.

Подходили, снимая шапки, казаки, воевода строго рассматривал каждого, кивал в ответ по-отцовски:

— Ну-ну, отощали, как собаки, мыльню вам Кузьма затопил. Ступайте, с дороги-то хорошо. Вечером, Данила, ко мне приходи. Ступайте, ступайте.

Нарты и сани, груженные добычей, все подъезжали. Воевода цепким взором изучал увязанную поклажу и наконец в окружении ушников и подхалимов двинулся в ворота. Народ бросился к умученным всадникам. Обнимались, целовались, голоса зазвучали вольно.

— А мой-то! Мой-то где?! — бежала от ворот острога жена Никиты Устьянца в цветастом платке и распахнутой нарядной шубейке. — Никитка! Вон он! Живой! — Отпихнув кого-то по дороге, так и кинулась на здоровяка-мужа.

— Успела нарядиться, сундук-то раскидала!

— И чего наряжалась?! Никита ить сей же час тебя разденет! И охнуть не успеешь!

— То ли он ее, то ли она его! — смеялись вокруг над крепко обнявшимися.

— Погоди, Наталья... Ну-ну... ладно... — морщился казак задубевшим от морозов лицом. — Чего ревешь, ворона?!

Данила невольно улыбался, вспоминая своих казаков в их счастливый час.

«Вот и сходил, — очнулся пятидесятник от благодных видений, — помянул соболями. Поговорил». Данила стиснул челюсти и обреченно закачал головой — будто цепью опутал его вероломный Урасов.

Иногда заходил Иван, приносил закуску, бормотал что-то недовольно, затапливая печку, в одиночество Данилы

не вмешивался и в собутыльники не навязывался. Да и обсуждать было нечего — они всё друг про друга знали. Иван был на двадцать лет старше, а главное, мягче характером, он не слишком разделял честолюбивые мечтания Данилы о безвестном ледовитом пути на восток, а и отстать от товарища уже не мог. Как две руки были на одном тулове.

Даниле же Колмогору эти неведомые морские дороги жгли душу. И он снова и снова думал, как бы отвертеться от поисков Леонтьева, которого, может, и нет там уже. С воеводой говорить было бесполезно... Выкладывать ему сведения о дальних реках нельзя было. Многое, что знал Данила, сообщалось ему по большой тайне. У промышленников и казаков было немало чего таить от воеводы, как и у воеводы от казаков. Все воровали — так уж было устроено.

В таможенной избе сдавали собранный Колмогором ясак.

Больше десяти сороков\* соболей лежало на длинном столе в трех кожаных опечатанных сумках — от каждого якутского князца отдельно, и еще от тунгусов. К ним прилагались описи. Когда и где собрано, сколько взамен выдано государевых подарков. Имя сборщика везде стояло — Иван Лыков, он в отряде значился таможенным целовальником, подписаны еще и Данилой, и толмачом. Имена якутов и тунгусов, сдававших ясак, указаны не были, только князцы проставили за всех родичей свои пятна\*\*.

Таможенный голова гневался и не принимал мехов, требовал, чтобы все было расписано по новому государеву указу, по приправочной книге с обозначением, какой именно иноземец сколько соболей сдал. Лыков спорил, рассказывал,

---

\* Сорок — единица счета пушнины. Соболя связывались по четыре десятка шкурок одного качества и цвета. Столько шло на шубу. Например, 10 сороков и 5 соболей значило 405 соболей.

\*\* Пятно — печать, подпись-рисунок местных народов в виде изображения какого-то животного или лука со стрелой. Запятнать — заверить печатями.

как якуты, боясь, что их заберут в аманаты и они окажутся в тюрьмах Якутского острога, оставляли соболей на льду реки и близко не подходили, одного толмача к себе допускали.

Спорили долго, в конце концов всей толпой пошли к воеводе, и тот распорядился принять, как принимали раньше, — за именем князца.

Потом все разошлись обедать и спать. Только к вечеру выбрали оценщиков из торговых и промышленных людей и, разложив меха, стали ценить каждого соболя. Лучших определяли в головной сорок, хороших, средних и меньших складывали в свои сорока. Ставили клейма на каждую шкурку, записывали. Тут уже много не спорили, глаз у всех был наметан — так опытный старатель без ошибки определяет вес самородка, оказавшегося в лотке.

К обеду следующего дня управились, записали так: головной сорок — 280 рублей, три сорока соболей по 80 рублей, три сорока по 50 рублей, два сорока по 40 рублей и один сорок — 20 рублей. А к тому ж три соболя-единца\*, один соболь ценой 28 рублей, один соболь — 20 рублей, один соболь — 15 рублей. Всего три соболя, ценой 63 рубля.

Составили окончательную роспись всей рухляди и руки приложили. Вышло на 833 рубля.

Тут явился Урасов — видно, шепнул кто-то о дорогушем единце, — не велел запечатывать, сказал отнести меха к нему в дом, чтобы сам мог убедиться в оценке. Это было серьезное нарушение, даже и прямое преступление — по государеву указу таможенный голова не подчинялся воеводе, но к такому уже привыкли и возражать не стали — у воеводы везде были свои ушники, за кривую ухмылку можно было полежать под батогами... «Солнце на небе, государь в Москве, а я здесь как-нибудь!» — любил пошутить воевода Урасов.

\* Лучшие соболя всегда считались отдельно. Один такой соболь мог цениться дороже сорока или даже двух сороков соболей невысокого качества.

У дверей толпились казаки, ходившие с Данилой на Юдому, пришли заплатить десятинный налог и поставить клейма на соболишек, что наменяли у иноземцев в походе. Явились и промышленники поглазеть на добычу.

— Ну-ка, подай! — Воевода ткнул пальцем в самого здорового казака.

Тот поразмышлял о чем-то хмуро и стал неохотно развязывать свой мешочек. Грубые пальцы подрагивали и не слушались. Наконец достал. Это была шкурка небольшой соболюшки — почти вся уместилась на огромной ладони. Воевода нетерпеливо вырвал мешочек, вытащил всех соболей, быстро проглядел и бросил на стол. Уставился на казака.

— Государь служилым не запрещает торговать, Петр Петрович! — Казак на голову был выше, вроде и с хмурым упрямством сказал, но и отодвинулся на шаг.

— Ты, Федот, когда дурнину порешь, от меня не пяться! В указе сказано — в государеву казну прежде добрых соболей имать, потом самим корыстоваться. На пять рублей вам разрешено наменивать, а здесь сколько?! Завтра все ко мне на двор, сам ваших соболей глядеть буду, а кто на сторону схоронит или пропьет, сука, под кнут положу и даром всё в казну заберу!

Привезенные Колмогором соболя были очень хороши, много темного меха, который и ценился. Если бы иноземцы умели правильно пороть шкурки, то и на тысячу рублей вышло бы. Промышленники стояли кучками, обсуждали, что же это за края, что такой темный соболь родится. Прикидывали, как туда добираться. Вроде бы и не сложно, и не так чтоб сильно далеко, да всё против течения рек. Весь запас на себе тянуть, получается. Пытали Ивана и казаков, ходивших с Колмогором, как иноземцы себя ведут, дружны ли к промышленникам, мелят ли соболей и много ли свободных рек в тех краях,

а то притащишься, а там уже досужий двинской али пинежский мужик своих кулемок\* понарубил.

И хотя многие только с промысла вернулись, кто-то и на Русь налаживался возвращаться с вырученными деньгами, глаза у промысловиков горячо и болезненно блестели новыми нетронутыми реками. Только доберись туда, да чтоб до тебя никого, кроме местных, не бывало — на таких речках и по пяти, и по семи сороков на брата в первую зиму добывали. Редкие смельчаки в одиночку садились на реку, это было выгоднее всего, но опасно. И с иноземцами без знания языка и их обычаев — поди пойми, что у него в голове, да и свои могли позариться на добычу одиночки.

— Первый раз вижу соболька за двадцать восемь рублей... — страдал промышленник с густой черной бородой. — На Руси за него и дом, и коней-коров... все хозяйство сразу справишь.

— В двадцать рублей соболя видал, а такого нет... — Небольшой коренастый мужичонка чесал затылок под пестрой беличьей шапкой. — Казакам за годовую службу четыре рубля жалованья кладут, а тут вон чего...

— Нам еще и соль, и двадцать пудов хлеба положено... — поправил стоявший рядом казак.

— Двадцать, — усмехнулся мужичонка. — На Руси на этого соболька пятьсот пудов можно сторговать!

— Э-эх, дал кому-то Господь эдакое богатство на сосне разглядеть, я бы от него ни днем ни ночью не отстал... — все переживал чернобородый. — Вишь, ребята, места какие здесь! Видать, и наше счастье где-то сейчас по лесам прячется.

Данила с Лыковым сидели при сальной свечке, накурили так, что друг друга не видели.

---

\* Кулемка, кулема — давящая ловушка на соболя. Делается из нетолстых ровных стволов.

— Два коча надо закладывать, с одним никак. — Иван неодобрительно скреб начавшую уже плешиветь голову. — Острожек будем ставить, служивые поплывут со всем заводом, с кормом на два года. Тяжеленько будет. Да где еще того Анисима искать... И во льдах в два судна опаски меньше! Чего молчишь?

— Воевода и на один коч денег не дает. Узнал, что у нас лес заготовлен, говорит, вернетесь — расплачусь.

— Надо с торговыми потолковать...

— Урасов велит одним идти, чтоб торговые о тех путях за Оленек ничего не знали! — Данила замолчал, во взгляде — железо. — Пойдем как есть, Анисима искать не будем!

— А как же... — растерялся Иван.

Данила молчал. Его через колено согнули идти на эти пустые розыски, и он не чувствовал обычной радости от предстоящего похода. И даже наоборот — не собирался исполнять наказ воеводы. Как — он пока не знал.

— Два коча да с пушечками бы, хоть пару пищалишек затинных! — продолжал осторожно рассуждать Иван, не особо понимая намерений товарища.

Данила глядел все с тем же мрачным видом, о своем думал. Поморщился на пушечки, он их не любил, не видел в них смысла.

— На свои деньги два коча не осилим?

— Куда?! Соболей и на сотню рублей не продали. Кочи да парус запасной, якоря, канаты новые... Опять же харчи да свинца-зелья\*... Цены-то якутские! — Иван, опасаясь, как бы Данила чего другого не затеял, бодрился, втягивал товарища в походные заботы.

— Коней наших продать надо. Уставщиком\*\* Васята будет?

---

\* Зелье — порох.

\*\* Уставщик — плотник, руководящий постройкой коча.

— Ну, он и мужиков наймет на плотбище\*. — Иван помолчал. — Что еще там за реки? Дай бог лета за два убраться, никто ведь не бывал.

— До ленских низовьев спустимся, там посмотрим... — перебил товарища Данила. — Недели три, пусть месяц.

— Не загадывай! — строго перекрестился Иван. — Мало мы ледяной каши хлебали?

Иван видел — не все говорит Данила Колмогор, затаил на Урасова.

— А чего нам в тех низовьях?

— Высадим служилых, что он нам с собой навязал, сами на Колыму уйдем!

— Вот те на! — Иван потер лоб, соображая. — Опасное затеваешь, Данила.

— Не опаснее, чем в море. Зато сами по себе будем!

— А Михайла Стадухин? Он мужик с ноздрей!

— Поглядим, кому Бог пособит, дальше Индигирки сейчас нет никого, просторно... — Данила поморщился и уже веселее махнул рукой по кудрям. — Может, Мишка где по пути застрянет, авось не встретимся.

— Тем более корма надо на два года брать, а то и на три... — Иван хмуро морщил лоб. Ему все это не очень нравилось, но Данилу уже было не остановить.

Пятидесятник кивнул, соглашаясь с запасом харчей. За молчали, обдумывая каждый свое. Иван нагнулся в оконце, там уже давно было темно. Февральская ночь стучала снежком в замерзшую слюду.

— Хотел домой уйти, на Руси помереть... Опять с тобой собираюсь. — Иван помолчал. — Стар я сделался для дальних рек, обузой тебе буду.

— Ты уже ходил домой, Ваня... Ты по дороге с тоски помрешь!

---

\* Плотбище — место постройки судов.

— Так и есть, друже, сам-то старый, а душа как у молодого, любо ей плыть куда глаза глядят... Ничего другого и не надо.

За порогом кто-то потоптался, оббивая снег, толкнул дверь. Вошел невысокий узкоплечий мужик в овчинном тулупе до пола, снял шапку, привычно крестясь на икону в красном углу. Это был Семен Вятка, казачий десятник.

— Здорово, что ли... — Семен размотал кушак и сел на лавку.

— Здорово.

— Воевода велел мне с вами плыть... — Взгляд обиженный, будто только что помоями облили. Он у него всегда был такой.

— Вот те на! — благодушно ощерился Иван. — Куда же ты собрался такой кислый?

— Ты, Иван, рано скалишься, про те края одно дурное поют. Я у воеводы снова на Омолой просился, а он меня вон куда! Гибели моей хочет!

— Чего говорят? — спросил Данила.

— А то сами не знаете? Народ-то над тобой посмеивается!

— Говори что знаешь! — зло оборвал его Данила.

— Чубука-юкагир, что в аманатах сидит, рассказывает, за Оленьком родовые места оленных тунгусов. Они, мол, дикие, никого туда не пускают. Юкагиры на что бедовые, а в те края никогда не суются.

— Ты, Семен, страху-то поубавь, так про все новые места брешут. — Иван приглядывался к десятнику: не пьян ли?

— Так, да не так, мне на Омолое шаман рассказал, за Оленьком большая река есть, больше Оленька!

— Как же зовется? — спросил Иван.

— Не помню, он ее по-своему называл. Мол, по всей той реке шаманы заправляют. Во главе всех родов — шаман, значит. А есть у них главный надо всеми — как будто человек, да с оленьей головой! Чего лыбишься, дурак?! Когда

время драки приходит, шаманы тех тунгусов вместе с оленями какой-то травой в раж вводят. Хоть с пищали, хоть из пушки пали! Как пьяные — ничего не боятся, и пули их не берут! А из луков с той дурной травы на полверсты садят!

Семен говорил негромко, но с нажимом, взгляд тревожный.

— Оттого Анисим с людьми и сгинул! Ни слуху ни духу! За три-то года всяко пришел бы кто али от тунгусов вести долетели б. Баба у Анисима в Якутском да ребятишек трое. — Семен потер лоб. — У воеводы шаман есть, надо его на расспрос поставить: так ли оно все про те пределы?

— И крест святой не помогает? — спросил Иван серьезно.

— Не знаю, должно бы помочь, да врать не буду. За той большой рекой у басурман священные места лежат. Они туда раз в году обязательно ходят. И ленские тунгусы ходят, да никому не говорят. Там болота и болота, непролазь, а среди тех болот горушки торчат, и у каждого тунгусского рода своя гора, а на ней истуканы вкопаны! Там они и молятся. Чего, думаете, воевода туда никого не пускает?! Аниську вон послал с шестью казаками — не вернулись! Теперь нас, тоже малым числом шлет!

Вятка замолчал, обиженно поглядывая на мужиков. Заговорил снова, понизив голос:

— Либо надо в три коча плыть, с большим отрядом, с попом и пушками, промышленников с собой взять... либо отбояриться от этого дела! Не пойдем, мол, и всё! Сколь он народу вам дает?

— Не знаем пока... Промышленников не велел набирать, — ответил Иван.

— Вот и мне тоже, да они и не пойдут.

— Чего это?

— А чего их доселе на тех реках нет? Они везде раньше казаков успевают, а не слышать, чтобы соболей оттуда везли! Про идолов-то, видно, истинная правда! Самое дурное место!